

Мережковский Дмитрий Сергеевич

Л. Толстой и Достоевский

Том 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Д53

Д53 **Дмитрий Сергеевич М.**
Л. Толстой и Достоевский: Том 2 / Мережковский Дмитрий Сергеевич – М.:
Книга по Требованию, 2022. – 577 с.

ISBN 978-5-519-96261-2

ISBN 978-5-519-96261-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

РЕЛИГІЯ

Л. ТОЛСТОГО и ДОСТОЕВСКАГО

ПРЕДИСЛОВІЕ

До послѣдняго времени Л. Толстой никогда собственно не былъ нашимъ духовнымъ вождемъ—въ полномъ смыслѣ этого слова, „учителемъ“. Почему? вотъ вопросъ.

Между силою безсознательнаго творчества, тѣмъ, что мы называемъ „геніемъ“ съ одной стороны, и силою сознанія, ума съ другой—существуютъ различныя степени соразмѣрности, согласованности, точно такъ-же, какъ между физическимъ объемомъ тѣла, ростомъ человѣка и его мускульною силою. Въ существѣ Пушкина, Гете соблюдена высшая степень этой соразмѣрности; духовное строеніе ихъ подобно строенію прекраснаго человѣческаго тѣла: удивительно согласовано, пропорціонально во всѣхъ своихъ частяхъ и членахъ; вотъ почему такая легкость и свобода въ ихъ движеніяхъ: они управляютъ ими въ совершенствѣ; свободно и легко носятъ себя, ходятъ, „точно летаютъ“. Этой-то соразмѣрности у Л. Толстого нѣтъ или она у него есть только въ низшей степени. Онъ недостаточно уменъ для своего генія, или слишкомъ геніаленъ для своего ума. Мускульная сила, которая легко носитъ людей средняго роста, оказалась-бы недостаточной для великана: умствующій Л. Толстой и есть такой слабый великанъ, Голіаѳъ, котораго, рано или поздно, маленькій Давидъ убьетъ камнемъ изъ пращи.

Эту неспособность къ быстрымъ и легкимъ движеніямъ, эту неповоротливую тяжесть, грузность ума замѣтилъ въ немъ первый, какъ и многое другое, никѣмъ не замѣченное, Достоевскій. Толстой, говоритъ Достоевскій, „несмотря на свой огромный художественный талантъ, есть одинъ изъ тѣхъ русскихъ умовъ, которые видятъ ясно лишь то, что стоитъ прямо передъ ихъ глазами, а потому и *прутъ въ эту точку. Повернуть-же шею направо или налево, чтобъ разглядѣть и то, что стоитъ въ сторонѣ, они, очевидно, не имѣютъ способности: имъ нужно для того повернуться встѣмъ тѣломъ, встѣмъ корпусомъ*. Вотъ тогда они, пожалуй, заговорятъ совершенно противоположное, такъ какъ, во всякомъ случаѣ, они всегда строго искренни“. Далѣе называетъ онъ эту прямолинейность „изступленною“ (Дневникъ Писателя 1877 г.). И по другому поводу, о свойственной не только Л. Толстому, но и русскому уму вообще, склонности къ чрезмѣрному упрощенію, „опрощенію“ всего: „простота, замѣчаетъ Достоевскій, прямолинейна и сверхъ того высокомѣрна. Простота—врагъ анализа. Очень часто кончается вѣдь тѣмъ, что въ простотѣ своей вы начинаете не понимать предмета; даже не видите его вовсе, такъ что происходитъ уже обратное, то-есть, вашъ-же взглядъ изъ простаго самъ собою и невольно переходитъ въ фантастическій“.

Когда Л. Толстой доказываетъ „ничтожность знаній опытныхъ“ (Сочин. 1898, XV, стр. 230); когда утверждаетъ онъ, что всѣ открытія современной науки, отъ Ньютона до Гельмгольца, всѣ эти, какъ онъ выражается, „ислѣдованія протоплазмъ, формы атомовъ, спектральные анализы звѣздъ“—совершенные „пустяки“ (XV, 224) „ни на что не нужная чепуха“ (XIII, 193), „труха для народа“ (XIII, 181), по сравненію съ истинною наукою „о благѣ людей“ и о томъ, „какимъ топорщикомъ выгоднѣе рубить“, „какіе

грибы можно ѣсть“ (XIII, 175); что „вся наша наука, искусство—только огромный мыльный пузырь“ (VI, 264); что „ни въ какое время и ни въ какомъ народѣ наука не стояла на такой низкой степени, на какой стоитъ теперешняя“ (XV, 256); что она нѣчто вродѣ „талмуда“, на изученіи котораго современные люди „вывихиваютъ себѣ мозги“ (XIII, 168);—когда Л. Толстой все это утверждаетъ, то онъ именно „претъ въ одну точку“, не умѣя повернуть шею „ни направо, ни налево“. Во всемъ этомъ есть конечно простота и прямолинейность; но простота „фантастическая“ и прямолинейность „изступленная“. Послѣ такихъ отзывовъ о наукѣ, никого уже не могло особенно удивить то, что Шекспиръ оказывался „дюжиннымъ талантомъ“ (Левенфельдъ о Толстомъ, стр. 113); что крестьянскій мальчикъ Оедька превзошелъ въ своихъ сочиненіяхъ не только самого Л. Толстого, но и Гете (IV, 205); что въ произведеніяхъ Боккачіо нѣтъ ничего кромѣ „размазыванія половыхъ мерзостей“ (XV, 89); что Наполеонъ—дурачекъ, а древніе греки—„полудикій рабовладѣльческій народецъ, очень хорошо изображавшій наготу человѣческаго тѣла и строившій пріятныя на видъ зданія“, „но мало нравственно развитый“; что всякая женская нагота, хотя-бы Венеры Милосской — „безобразна“ (XV, 192); что всѣ „картины, статуи, изображающія обнаженное женское тѣло и разныя гадости (это невѣроятно, но я не преувеличиваю: сравните съ подлинникомъ — XV, 205), что все „существующее искусство“, которое имѣетъ только одну опредѣленную цѣль — какъ можно болѣе широкое распространеніе разврата“—слѣдовало-бы „уничтожить“, — „лучше пускай не будетъ никакого искусства“ (XV, 206), ибо надо-же наконецъ когда-нибудь избавиться отъ заливающего насъ „грязнаго потока этого развратнаго, блуднаго искусства“ (XV, 211). Образованные русскіе люди,

вообще довольно терпѣливые и ко всему легко привыкающіе—за сорокъ лѣтъ слишкомъ, въ теченіе которыхъ прислушивались къ подобнымъ отзывамъ Л. Толстого, успѣли привыкнуть къ нимъ и обтерпѣться. Только черезчуръ наивные или невоздержанные противники его все еще спорили, горячились; прочіе давно уже поняли, что бесполезно спорить о томъ, есть-ли книгопечатаніе, какъ утверждаетъ Л. Толстой — „сильнѣйшее орудіе невѣжества“ (VIII, 2 часть, стр. 150), и можно-ли сравнивать музыку Бетховена съ пѣснями деревенскихъ бабъ.

Всего менѣе сердились, кажется, именно тѣ, на кого направлена была отрицательная проповѣдь Л. Толстого: слишкомъ чувствовалось, что, хотя отрицаетъ онъ всѣ основы культурнаго міра—науку, искусство, собственность, государство, церковь — съ такою „неистовою прямолинейностью“, что, казалось-бы, міръ долженъ рушиться, — вся сила этого отрицанія идетъ все-таки мимо жизни, прочь отъ жизни, и что если Великая Революція зажглась отъ гораздо менѣе дерзкаго вольнодумства XVIII вѣка, то все-же изъ толстовскаго анархизма никогда никакой революціи не выйдетъ; — недаромъ-же все у него кончается буддійскимъ „недѣланіемъ“, „непротивленіемъ“: жестко стелеть, мягко спать. Оглушительные холостые выстрѣлы, исполинскія хлопушки.

„Я совсѣмъ озлился *тою кипящею злобою негодованія, которую я люблю въ себѣ, возбуждаю даже, когда на меня находитъ, потому что она успокоительно дѣйствуетъ на меня* и даетъ мнѣ хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергію и силу всѣхъ физическихъ и моральныхъ способностей“, признается одинъ изъ очень юныхъ и очень искреннихъ героевъ Л. Толстого, герой наивнѣйшаго, во вкусъ Жанъ-Жака Руссо, но вмѣстѣ съ тѣмъ уже толстовскаго анархическаго бунта. „Я думаю,

что если-бы кельнеры и швейцаръ (дѣло происходитъ въ заграничномъ отелѣ) не были такъ уклончивы, я-бы съ наслажденіемъ подрался съ ними, или палкой по головѣ прибилъ-бы беззащитную англійскую барышню. Если-бы въ эту минуту я былъ въ Севастополѣ, я-бы съ наслажденіемъ бросился колоть и рубить въ англійскую траншею". Еще недавно, по поводу злобнаго возраженія на одну изъ его послѣднихъ статей, семидесятилѣтній Л. Толстой признавался съ тою-же простодушною искренностью: „статья эта доставила мнѣ удовольствіе. Такъ и чувствуешь, что попалъ въ самую середину кучи муравьевъ, и они сердито закопошились". Иногда впрочемъ онъ и самъ опомняется и, уставъ „переть въ одну точку", поворачивается наконецъ „всѣмъ тѣломъ, всѣмъ корпусомъ" и вдругъ, замѣчая, вмѣсто предполагаемой ярости, добрую усмѣшку на человѣческихъ лицахъ, признается все съ тою-же трогательною откровенностью: „имъ всѣмъ стало неловко; какъ будто они взглядами говорили мнѣ: вѣдь вотъ смазали изъ уваженія къ тебѣ твою глупость, а ты опять съ ней лѣзешь!" (XIII, 60). Да, есть что-то безконечно-трогательное въ этой способности великаго старика быть вѣчнымъ ребенкомъ: по бессознательной мудрости, по глубочайшему прозрѣнію въ тайны животной жизни, ему какъ будто не семьдесятъ, а семьсотъ лѣтъ; а по уму, по сознанію — все еще семнадцать или даже семь лѣтъ; какъ будто и донинѣ онъ тотъ-же самый Левушка, который, желая летѣть и бросившись изъ окна классной комнаты, едва не сломалъ себѣ шею.

И вотъ все вдругъ измѣнилось: игра становится трагическою; завѣтная мечта его исполняется: онъ — пророкъ и учитель, ну, если не всего русскаго народа, то по крайней мѣрѣ культурнаго общества.

Положеніе дѣлъ таково: соединившись подъ знаменемъ

Л. Толстого, образованные русскіе люди возстали во имя свободы мысли и совѣсти на мертвую догматику и схоластику, на духъ тьмы и невѣжества, сказавшіеся, будто-бы, въ опредѣленіи Свнода, принятомъ всѣми, какъ утверждаетъ, по крайней мѣрѣ, самъ Л. Толстой, не за простое „свидѣтельство объ отпаденіи“, а за настоящее, хотя и скрытое, „отлученіе отъ церкви“, за своего рода церковную „анаѳему“.

Дабы такое положеніе дѣлъ оказалось не мнимымъ, а истиннымъ, необходимо соблюденіе одного условія: единомысліе учителя и учениковъ въ пониманіи того, во имя чего собственно и соединились они подъ общимъ знаменемъ, то-есть, въ пониманіи истиннаго просвѣщенія. Судя по одному, правда, довольно скользкому, намеку въ „Отвѣтъ Л. Толстого Свноду“, можно бы подумать, что подобное единомысліе существуетъ и всегда существовало: „постановленіе Свнода, говоритъ онъ, произвольно, потому что обвиняетъ одного меня въ невѣріи во всѣ пункты, выписанные въ постановленіи, тогда какъ не только многіе, но *почти всѣ образованные люди раздѣляютъ* (надо подразумевать: раздѣляютъ со мною) такое невѣріе и безпрестанно выражали и выражаютъ его и въ разговорахъ, и въ чтеніи, и въ брошюрахъ, и въ книгахъ“ (Отв. Л. Т. Свн. Листки Свободн. Слова, № 22, стр. 2). Для того, чтобы слова эти имѣли рѣшающую силу искренности въ нашихъ глазахъ, — или намъ должно забыть всю сорокалѣтнюю литературную и проповѣдническую дѣятельность Л. Толстого, или ему отречься отъ главнаго смысла всей этой дѣятельности. Мы вѣдь знаемъ, что до сей поры для него вся наша образованность, наука, искусство были только „мыльнымъ пузыремъ“, „ни на что ненужною чепухой“, и что мы сами, образованные люди, „жрецы науки и искусства“, всегда казались ему „дрянными обман-

щиками, имѣющими на свое положеніе гораздо меньше правъ, чѣмъ самые хитрые и развратные жрецы" (XIII, 198). Если это такъ, — а вѣдь Л. Толстой отъ этого не отрекается, — то какъ-же не побрезгалъ онъ соединиться съ нами противъ церкви, съ одними обманщиками—противъ другихъ? Отрицаніе православія, какъ одной изъ культурно-историческихъ формъ христіанства, понятно въ общемъ ходѣ мыслей Л. Толстого: это отрицаніе—только звено цѣлой цѣпи его отрицательныхъ выводовъ относительно всей вообще современной европейской культуры; здѣсь церковь отрицается, не какъ нѣчто стоящее внѣ культуры и ей противоположное, а именно, какъ часть всей этой ложной культуры, другія части которой суть наука, искусство, собственность, государство.

Соединяясь такъ безвозвратно съ тѣмъ, кто отрицаетъ сущность культуры, не подвергается-ли и русское культурное общество опасности отречься отъ своей собственной сущности, отъ своего единственного права на существованіе?

Люди могутъ вступать въ прочный внутренній союзъ только во имя какого-нибудь утвержденія, во имя какого-нибудь „да“; но союзъ во имя одного отрицанія, безъ всякаго утвержденія — всегда внѣшній, случайный и временный: изъ ничего ничего не выходитъ. Изъ какого-нибудь общаго „да“ возникаетъ и общее „нѣтъ“; но изъ „нѣтъ“ не можетъ возникнуть общаго „да“. Люди ненавидятъ одно, если они любятъ одно; но если они любятъ разное, то и ненавидѣть могутъ только разное, даже тогда, когда имъ кажется, что они ненавидятъ одно. Въ союзѣ русскихъ людей со Л. Толстымъ есть общее „нѣтъ“ — отрицаніе православія—безъ всякаго общаго „да“—утвержденія новой формы христіанства; есть единство въ отрицаніи безъ всякаго единства въ утвержденіи. А потому

и самый союзъ этотъ—внѣшній, случайный и временный, не столько союзъ, сколько встрѣча. Кажется, самъ Л. Толстой сознаетъ это, по крайней мѣрѣ, чувствуетъ; кажется, даже проговаривается объ этомъ. Въ „Отвѣтъ Синоду“ есть одно слово ужасающей искренности, въ которомъ вдругъ сказывается весь прежній, истинный Л. Толстой, узнается „левъ по когтямъ“, великій язычникъ, дядя Ерощка: „Мнѣ надо самому одному жить, самому одному и умереть“ (стр. 11). Чѣмъ больше вдумываешься въ это слово, тѣмъ оно кажется неимовѣрнѣе. Онъ—христіанинъ, по крайней мѣрѣ, считаетъ себя „христіаниномъ“, сущность христіанства для него въ любви къ людямъ: любить людей значитъ быть вмѣстѣ съ ними въ жизни и въ смерти—жить и умереть для нихъ. И вотъ однако оказывается, что ему этого вовсе не надо; ему надо жить не съ людьми, а „одному“ — „одному самому жить, одному самому умереть“. „Ты царь: живи одинъ“—онъ исполнилъ этотъ завѣтъ. Онъ жилъ одинъ, одинъ умереть; „этотъ человѣкъ никогда никого не любилъ“, и его никто не любитъ. Не любовь къ людямъ, не соединеніе съ людьми, а уединеніе, „могущество и уединеніе“ — вотъ истинный смыслъ его жизни. И вѣдь нельзя было, кажется, выбрать времени, болѣе неудобнаго для такого признанія: именно теперь, когда окружаетъ его такая слава, такая любовь людей, какой никогда еще не былъ онъ окруженъ, когда почти всѣ образованные люди не только Россіи, но и всего міра тѣснятся вокругъ него, какъ ученики вокругъ учителя, какъ овцы вокругъ пастыря, именно теперь онъ вдругъ почувствовалъ, что онъ одинъ, и что ему надо быть одному. О, тутъ уже не игра, не притворство: тутъ послѣдняя правда всей его жизни, послѣдняя суровость къ себѣ и другимъ, тутъ его истинное величіе. Онъ знаетъ, что вся любовь, слава міра — только обманъ и призракъ;